

*Радости и горести знаменитой  
Молль Флендерс,  
которая родилась  
в Ньюгейтской тюрьме*

*и*

*в течение шести десятков лет  
своей разнообразной жизни  
(не считая детского возраста)  
была двенадцать лет содержанкой,  
пять раз замужем  
(из них один раз за своим братом),  
двенадцать лет воровкой,  
восемь лет ссыльной в Виргинии,  
но под конец разбогатела,  
стала жить честно*

*и*

*умерла в раскаянии.  
Написано по ее собственным  
заметкам.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В последнее время публика так привыкла к романам, что история подлинной жизни, в которой от читателя скрыты имена действующих лиц и другие сведения о них, вряд ли будет сочтена былью; но в этом отношении мы должны предоставить читателю его собственному суждению: пусть он принимает эту книгу, как ему будет угодно.

Молль Флендерс, очевидно, описывает здесь собственную жизнь и вначале сообщает причины, заставившие ее скрыть свое настоящее имя, так что прибавить к этому нечего.

Правда, подлинные записи пересказаны здесь иными словами, и слог замечательной дамы, о которой идет речь, слегка изменен; главное, в ее уста вложены более скромные выражения, нежели те, что стояли у нее; рукопись, попавшая в наши руки, была написана языком, больше похожим на жаргон Ньюгейта, чем на язык раскаявшейся и смилившейся женщины, за которую она выдает себя на последних страницах.

Перу, занимавшемуся отделкой повести и превратившему ее в то, что вы видите перед собой, стоило немало труда принарядить ее в приличное платье и заставить говорить приличным языком. Когда развращенная с юных лет женщина, к тому же дитя

разврата и греха, повествует о порочной своей жизни, особенно подробно останавливается на обстоятельствах своего совращения и на всех ступенях преступлений, которые она прошла за шестьдесят лет, то автору нелегко так все это скрасить, чтобы не было повода для нареканий, особенно со стороны недоброжелательных читателей.

Во всяком случае, были приложены все старания к тому, чтобы не допустить в эту повесть в настоящем ее виде никаких непристойностей, никакого бесстыдства, ни одного грубого выражения героини. С этой целью кое-какие подробности порочной части ее жизни, которые нельзя передать в пристойной форме, опущены вовсе, многое же сильно сокращено. То, что оставлено, надо надеяться, не оскорбит самого целомудренного читателя, самого скромного слушателя; и так как даже из самого дурного рассказа можно извлечь пользу, то нравоучение, надо надеяться, удержит читателя от легких мыслей даже в тех случаях, когда сам рассказ может их возбудить. Повесть о порочной жизни, кончившейся раскаянием, непременно требует живого описания порока, иначе потускнеет красота раскаяния, а под умелым пером оно, несомненно, должно выйти ярким и привлекательным.

Говорят, будто раскаяние нельзя изобразить с такой живостью, красотой и блеском, как преступление. Если в таком мнении и есть доля правды, то объясняется это, мне кажется, тем, что при чтении порок и добродетель вызывают неодинаковые чувства; несомненно, различие заключено не в истинных качествах предмета, а во вкусах и склонностях читателя.

Но так как настоящее произведение предназначено главным образом для людей, умеющих читать

и извлекать пользу из прочитанного, то, надо надеяться, таким читателям нравоеучение понравится гораздо больше, чем содержание, выводы — больше, чем самый рассказ, и намерение писавшей — больше, чем жизнь героини.

Повесть эта изобилует занятными приключениями, и все они содержат в себе назидание. Благодаря соответствующему освещению они всегда так или иначе поучительны для читателя. Распутная жизнь героини с молодым джентльменом в Колчестере содержит столько черточек, изобличающих пороки и предостерегающих всех вступающих на этот путь о гибельном конце подобных походов, нелепость, безрассудство и гнусность поведения обеих сторон так очевидны, что этим с избытком искупается слишком живописное изображение героиней своего беспутства и порочности.

Раскаяние ее любовника из Бата и то, как он под влиянием болезни решает покинуть ее; справедливое предостережение против излишних вольностей даже в чисто дружеских отношениях; наша неспособность осуществить без божественной помощи самые благие намерения — в этих страницах разборчивый читатель обнаружит больше подлинной красоты, чем во всей цепи любовных приключений, которые к ним приводят.

Словом, все повествование заботливо очищено от легкомыслия и нескромности, которые там были, и еще более заботливо приспособлено для добродетельных и благочестивых целей. Никто не может без явной несправедливости бросить нам упрек за наше намерение опубликовать его.

Для доказательства пользы театральных представлений и необходимости разрешать их при самом просвещенном и благочестивом правлении по-



борники театра во все времена ссылались на то, что драмы и комедии преследуют нравственные цели и при помощи живого изображения насаждают добродетель и благородство, в то же время изобличая и осмеивая всякого рода пороки и испорченность нравов. Если бы те, кто так говорит, действительно руководствовались этим правилом, защищая ту или иную пьесу, многое можно было бы сказать в похвалу им.

Это основное требование строжайшим образом соблюдено на всем протяжении настоящей книги, во всех бесконечно разнообразных ее эпизодах; в ней нет ни одного дурного поступка, который бы рано или поздно не привел к беде или несчастью, все выведенные в ней негодяи либо несут наказание, либо раскаиваются; дурное изображается только с целью осуждения, а добродетель и справедливость всегда вознаграждаются. Можно ли с большей точностью выполнить вышеупомянутое правило и при соблюдении его не становятся ли поучительными даже такие вещи, которые справедливо нами осуждаются, например: изображение дурного общества, употребление непристойных выражений и тому подобное?

На этом основании настоящая книга предлагается читателю в качестве произведения, каждый эпизод которого содержит что-нибудь поучительное; ее выводы могут послужить читателю назиданием, если он пожелает воспользоваться ими.

Все подвиги этой интересной дамы служат прекрасным предостережением честным людям, показывая, как заманивают простаков, как их обирают и грабят и, значит, каким образом избежать всего этого. Ограбление девочки, которую тщеславная мать разрядила, отправляя в танцевальную школу, является хорошим уроком на будущее для подобных лю-

дей, как и похищение золотых часов у маленькой ба-рышни в Сент-Джеймссском парке.

Похищение узла у легковерной девушки на сто-янке почтовых карет на Сент-Джон-стрит, кража во время пожара, а также в Гарвиче учат, как важно со-хранять самообладание при разных неожиданностях.

Скромная и трудолюбивая жизнь, которую геро-иня вела в последние годы в Виргинии с ссыльным мужем, является отличным назиданием для всех не-счастливых, вынужденных устраиваться в чужих кра-ях, куда их загнала ссылка или другие невзгоды; мы видим, что прилежание и усердие не остаются без на-грады даже в отдаленнейших частях света и что нет такого жалкого, презренного и безотрадного поло-жения, из которого мы бы не выбрались при помо-щи неутомимого труда, так как труд поднимает лю-дей, упавших на самое дно, и дает им новые силы для жизни.

Вот те важные выводы, к которым нас подводит эта книга; их вполне достаточно, чтобы предлагать ее вниманию публики, а тем более оправдать ее из-дание.

Рукопись содержит еще две великолепные повес-ти, о которых отчасти можно судить по некоторым отрывкам, вошедшим в настоящую книгу, но обе они слишком длинны, чтобы поместить их в этом томе; они могли бы составить самостоятельные книги. Я имею в виду: жизнь пестуни, как называет ее ге-роиня, женщины, которая в течение немногих лет пе-ребывала благородной дамой, содержанкой и сводней, повивальной бабкой и содержательницей родильно-го приюта, процентщицей и похитительницей детей, укрывательницей воров и краденого; но все же эта воровка и наставница воров и т. п. напоследок рас-каялась.

Вторая повесть — жизнь ссыльного мужа героини, разбойника с большой дороги, который, по-видимому, двенадцать лет промышлял грабежом и так ловко выпутался, что ему разрешили пойти в ссылку добровольно, а не в качестве каторжника; жизнь его полна необыкновенных приключений.

Но, как я уже сказал, вещи эти слишком велики, чтобы поместить их, и я не обещаю, что они будут изданы отдельно.

Повесть эта не доведена до самого конца жизни знаменитой Молль Флендерс, ибо никто не может довести свое жизнеописание до смерти: покойники писать не умеют. Но жизнь ее мужа, написанная третьим лицом, подробно излагает, как жили они вместе в той стране и как по прошествии восьми лет снова вернулись в Англию, успев за это время сильно разбогатеть; там говорится далее, что Молль дожила до глубокой старости, но уже не так горько казалась, как сначала; только она, по-видимому, всегда с отвращением говорила о своей прежней жизни, от начала до конца ее.

В Мэриленде и Виргинии жизнь ее была полна занимательных приключений, но рассказ о них не отличается такой складностью, как ее собственный; поэтому наша повесть только выиграет, если мы опустим эту часть.

**М**ое настоящее имя так хорошо известно в архивах или протоколах Ньюгейта и Олд Бейли, и с ним до сих пор связаны настолько важные обстоятельства, касающиеся моей частной жизни, что нечего ожидать, чтобы я назвала его здесь или сообщила какие-либо сведения о своей семье; может быть, после моей смерти все это станет известно, теперь же сообщать об этом было бы неудобно, даже если бы вышло полное прощение всех без исключения преступников и преступлений.

Достаточно будет вам сказать, что некоторые из самых дурных моих товаров, уже неспособные причинить мне какой-либо вред (они ушли из этого мира по ступенькам лестницы, ведущей на виселицу, которая часто угрожала и мне), знали меня под именем Молль Флендерс; поэтому позвольте мне выступать под этим именем, пока я не наберусь решимости признаться, кем я была и кто я теперь.

Слышала я, что в одном соседнем государстве — во Франции или в другом каком-то, в точности не знаю, — существует королевский приказ, в силу которого дети преступника, приговоренного к смертной казни, к галерам или к ссылке, остающиеся обыкновенно без всяких средств вследствие конфискации имущества родителей, немедленно берутся в опеку



правительством и помещаются в приют, называемый Сиротским домом, где их воспитывают, одевают, кормят, учат, а при выходе оттуда готовят к ремеслу или отдают в услужение, так что они получают полную возможность добывать себе пропитание полезным и честным трудом.

Если бы такой обычай существовал и в нашей стране, я бы не осталась бедной, покинутой девочкой, без друзей, без одежды, без помощи или помощника, как выпало мне на долю и вследствие чего я не только испытала большие бедствия, прежде чем могла понять или поправить свое положение, но еще ввергнута была в порочную жизнь, которая приводит обыкновенно к быстрому разрушению души и тела.

Но у нас дело обстоит иначе. Матушка моя попала под суд за мелкую кражу, едва стоящую упоминания: она утащила три штуки тонкого полотна у одного мануфактурщика на Чипсайде. Подробности слишком долго рассказывать, и я слышала их в стольких версиях, что положительно не могу сказать, какая из них правильна.

Как бы там ни было, все они сходятся в том, что матушка сослалась на свой живот, что ее нашли беременной и исполнение приговора было отсрочено на семь месяцев; за это время она произвела меня на свет, а когда оправилась, приговор вошел в силу, но в смягченном виде: она была сослана в колонии, оставив меня, шестимесячную малютку, притом, надо думать, в дурных руках.

Все это происходило в слишком раннюю пору моей жизни, чтобы я могла рассказать что-нибудь о себе иначе как с чужих слов; достаточно упомянуть, что я родилась в том несчастном месте, и не было прихода, куда бы можно было отдать меня на попечение на время малолетства; не могу объяснить, как

я осталась в живых, знаю только, что какая-то родственница моей матери, как мне передавали, взяла меня к себе, но по чьему распоряжению и на чей счет меня содержала, ничего мне не известно.

Первое, что я могу припомнить о себе, это то, что я скиталась с шайкой людей, известных под названием цыган или египтян; но думаю, что я была у них недолго, потому что они не изменили цвета моей кожи, как делают со всеми детьми, которых уводят с собой; ничего не могу сказать, как я к ним попала и как от них вырвалась.

Бросили они меня в Колчестере, в Эссексе, и мне смутно помнится, что я сама покинула их там (то есть спряталась и не захотела идти с ними дальше), но я не в состоянии рассказать какие-либо подробности; помню только, что, когда меня взяли приходские власти Колчестера, я сказала, что пришла в город с цыганами, но не захотела идти с ними дальше и они меня бросили, но куда ушли — не знаю; за цыганами была послана во все стороны погоня, но, кажется, их не удалось найти.

Теперь я была, можно сказать, пристроена; правда, местные приходы, по закону, не обязаны были заботиться обо мне, однако, лишь только стало известно мое положение и что для работы я не гожусь, так как было мне всего три года, городские власти сжалились надо мной и взяли меня на свое попечение, как если бы я родилась в этом городе.

Посчастливилось мне попасть на воспитание к одной женщине, правда, бедной, но знававшей лучшие времена, которая добывала себе скромное пропитание тем, что ухаживала за такими детьми, как я, и снабжала их всем необходимым, пока они не достигали возраста, когда могли поступить в услужение или зарабатывать хлеб самостоятельно.

Эта женщина держала также маленькую школу, в которой обучала детей чтению и шитью; так как вращалась она когда-то в хорошем обществе, то воспитывала детей с большим искусством и большой заботливостью.

Но самое ценное было то, что воспитывала она нас также в страхе Божиим, будучи сама, во-первых, очень скромной и набожной, во-вторых, очень домовитой и опрятной и, в-третьих, с хорошими манерами и безукоризненного поведения. Таким образом, если не считать скудной пищи, убогого помещения и грубой одежды, получали мы такое светское воспитание, точно в танцевальной школе.

Я оставалась там до восьми лет, когда однажды, к ужасу своему, узнала, что городские власти распорядились отдать меня в услужение. Я очень мало что могла бы делать, куда бы меня ни определили, разве только быть на побегушках или состоять судомойкой при кухарке; мне часто так говорили, и я очень этого боялась, потому что питала непреодолимое отвращение к черной работе, несмотря на свою молодость; и я сказала своей воспитательнице, что, наверно, смогу зарабатывать на жизнь, не поступая в услужение, если ей будет угодно позволить мне; ведь она научила меня работать иглой и прясть грубую шерсть, что является главным промыслом того города; и если она согласится оставить меня, я буду работать на нее, и буду работать очень усердно.

Я почти каждый день твердила ей об усердной работе, а сама трудилась не покладая рук и плакала с утра до ночи; и так я разжалобила добрую, сердобольную женщину, что она наконец стала за меня тревожиться: очень она меня любила.

Как-то раз после этого, войдя в комнату, где все мы, бедные дети, трудились, добрая наша воспита-



тельница села прямо против меня, не на своем обычном месте, но как будто нарочно с целью наблюдать за моей работой. Я исполняла какой-то заданный ею урок — помнится, метила рубашки. Помолчав немного, она обратилась ко мне:

— Вечно ты плачешь, дуручка. — (Я и тогда плакала.) — Ну скажи мне, о чем ты плачешь?

— Они хотят меня взять и отдать в прислуги, — проговорила я, — а я не умею работать по хозяйству.

— Полно, детка! Если ты не умеешь работать по хозяйству, то понемногу научишься. Тебя не приставят сразу к тяжелой работе.

— Нет, приставят, — говорю, — а если я не смогу делать ее, меня будут бить и служанки будут побоями заставлять меня работать. Я маленькая, и мне тяжело работать! — И с этими словами я так разрыдалась, что не могла больше говорить.

Моя добрая воспитательница очень расчувствовалась и решила не отдавать меня покамест в услужение; она велела мне не плакать, сказав, что поговорит с господином мэром и что меня не отдадут в услужение, пока я не подрасту.

Однако это обещание не успокоило меня, потому что самая мысль о том, что я пойду когда-нибудь в прислуги, страшила меня; даже если бы моя воспитательница сказала, что меня не тронут до двадцати лет, это нисколько бы меня не утешило; я вечно бы плакала от одного страха, что дело этим кончится.

Видя, что я не унимаюсь, воспитательница рассердилась.

— Чего ты ревешь? Ведь я сказала, что тебя не отдадут в прислуги, пока ты не подрастешь.

— Да, — говорю, — но потом все же придется пойти.



— С ума сошла девчонка! А ты что же, хочешь быть барыней?

— Ну да, — говорю и снова заплакала в три ручья.

Тут старушка не выдержала и расхохоталась, как вы легко можете себе представить.

— Вот оно что! Вам угодно быть барыней! — стала она издеваться надо мной. — И вы думаете сделаться барыней, если будете шить да прясть?

— Да, — простодушно ответила я.

— Сколько же ты можешь заработать в день, дурочка?

— Три пенса пряжей и четыре пенса шитьем.

— Ах, горе-барыня, — продолжала она насмеяться, — этак далеко не уедешь!

— С меня будет довольно. Только позвольте мне остаться у вас, — сказала я таким умоляющим тоном, что добрая женщина разжалобилась, как она признавалась мне впоследствии.

— Да ведь этого не хватит тебе на пищу и на одежду. Кто же станет одевать маленькую барыню? — проговорила она, с улыбкой глядя на меня.

— Так я буду работать еще больше и все деньги буду отдавать вам, — отвечала я.

— Бедное дитя, все равно этого не хватит на твое содержание, одна провизия обойдется дороже.

— Тогда не нужно мне провизии, — продолжала я свои простодушные ответы, — позвольте мне только жить с вами.

— Разве ты можешь жить без еды?

— Могу, — продолжала я детскую свою речь и снова залилась горькими слезами.

Я ничуть не хитрила; вы легко можете видеть, что все мои ответы были непринужденными; но столько в них было простодушия и столько горячего порыва, что добрая, жалостливая женщина тоже

заплакала, разрыдалась, как и я, взяла меня за руку и увела из классной комнаты. «Ладно, — говорит, — ты не поступишь в прислуги, ты будешь жить со мной», — и слова ее на этот раз меня успокоили.

После этого отправилась она раз к мэру поговорить о своих делах; зашел разговор и обо мне, и добрая моя воспитательница рассказала господину мэру всю эту сцену; тот пришел в такой восторг, что позвал послушать жену и двух дочерей, и вы можете себе представить, как весело все они смеялись.

И вот не прошло и недели, является вдруг к нам жена мэра с дочерьми навестить мою старую воспитательницу, посмотреть ее школу и детей. Посидев немного, жена мэра спрашивает:

— Скажите мне, миссис\*\*\*, где же та девочка, которая хочет быть барыней?

Услышав эти слова, я страшно испугалась, сама не знаю почему; но жена мэра подходит ко мне и говорит:

— Здравствуйте, мисс, покажите-ка мне, что такое вы шьете.

Слово «мисс» очень редко можно было слышать в нашей школе, и я удивилась, почему она называет меня таким нехорошим именем; все же я встала, сделала реверанс, она взяла у меня из рук работу, взглянула на нее и сказала, что сделано очень хорошо, потом посмотрела на мои руки и сказала:

— Право, она может стать барыней: поглядите, какие у нее беленькие ручки.

Ужасно мне это понравилось, но жена мэра этим не ограничилась, сунула руку в карман, дала мне шиллинг и велела работать старательно и прилежно учиться, тогда мне, может быть, удастся сделаться барыней.

Все это время моя добрая старушка-воспитательница, жена мэра и все прочие вовсе меня не понимали, потому что они подразумевали под словом «барыня» одно, а я — совсем другое. Увы! Мне казалось, что быть барыней — значит работать на себя и зарабатывать столько денег, чтобы не нужно было идти в прислуги, тогда как для них это означало высокое положение в обществе, богатство, широкую жизнь и не знаю что еще.

Когда жена мэра удалилась, вошли ее дочери и тоже пожелали увидеть барыню; они долго со мной разговаривали, и я отвечала им с тем же простодушием; каждый раз, как они спрашивали меня, действительно ли я решила стать барыней, я отвечала «да». Наконец они спросили меня, что же такое «барыня». Вопрос очень меня смутил. Все же я кое-как объяснила, что это женщина, которая не ходит работать по домам; они были в восторге от моих ответов, моя болтовня им, видно, очень понравилась и позабавила их, и они тоже дали мне денег.

Деньги эти я все отдала своей наставнице, как я называла ее, и пообещала старушке по-прежнему отдавать ей все, что буду зарабатывать, когда стану барыней. После этого и после других моих слов воспитательница начала понимать, что я подразумеваю под словами «быть барыней» и что они означают для меня всего лишь возможность собственным трудом зарабатывать себе на хлеб; наконец она меня спросила, так ли это.

Я ответила ей «да» и упорно твердила, что это и значит быть барыней. «Ведь вот такая-то, — сказала я, называя одну женщину, которая чинила кружева и стирала дамские кружевные чепчики, — ведь она же барыня, и все зовут ее мадам».

— Глупенькая, — рассмеялась моя добрая старушка, — такой барыней тебе стать нетрудно: про нее дурная слава идет, у нее двое незаконных.

Я ни слова не поняла, однако ответила: «Я знаю, что ее зовут мадам и она не живет в прислугах». Поэтому я твердо стояла на том, что она барыня, и хотела быть такой же.

Все это снова было передано дамам, и те очень смеялись, и время от времени дочери господина мэра приходили повидать меня, спрашивая, где маленькая барыня, что наполняло меня немалой гордостью. Навещая меня, эти молодые дамы иногда приводили с собой знакомых; таким образом, меня скоро знал чуть не весь город.

Мне было тогда около десяти лет, и я уже начала походить на маленькую женщину, так как была очень серьезной и чинной, и вы легко можете себе представить, какую я чувствовала гордость, слыша от дам, что я хорошенькая и буду красавицей. Однако эта гордость не оказывала еще на меня дурного действия; деньги, которые дамы часто дарили мне, а я отдавала старушке-воспитательнице, женщина эта добросовестно тратила на меня, покупая мне чепчики, белье и перчатки, так что я была опрятно одета; будь на мне лохмотья, они и то всегда были бы чистые, я сама бы стирала их; но, повторяю, добрая моя воспитательница, когда мне дарили деньги, добросовестно тратила их на меня и всегда говорила дамам, что то-то и то-то куплено на их деньги; это побуждало их делать мне новые подарки, пока наконец городские власти и в самом деле не вызвали меня и не предложили поступить на службу. Но я уже стала тогда такой прекрасной работницей и дамы были так добры ко мне, что обошлось без службы; я могла зарабатывать для своей воспитательницы все, что она



тратила на мое содержание, поэтому она попросила разрешения оставить у себя «барыню», как все называли меня, говоря, что я буду ей помогать в обучении детей, с чем я отлично могла справиться, потому что работала очень ловко, даром что была еще очень молода.

Однако доброта моих покровительниц пошла еще дальше; узнав, что город больше не содержит меня, они стали чаще дарить деньги, а когда я подросла, начали приносить мне работу на дом: шить белье, чинить кружева, отделявать шляпки, и не только платили мне, но еще и учили, как все это нужно делать, так что я действительно сделалась барыней, как я понимала это слово: мне не исполнилось еще двенадцати лет, а я не только справляла себе платья и платила воспитательнице за пропитание, но еще и откладывала деньги про черный день.

Дамы часто мне дарили свои платья или что-нибудь из платья своих детей: то чулки, то юбку, то одно, то другое; и моя старушка берегла все это, как мать, заставляя меня чинить и переделывать, потому что была она на редкость бережливая хозяйка.

Наконец так я полюбила одну из дам, что она пожелала пригласить меня на месяц к себе в дом, чтобы я, говорила она, побыла с ее дочерьми.

Хотя это приглашение было необыкновенной любезностью с ее стороны, однако, как сказала ей добрая моя старушка, она причинит маленькой барыне больше зла, чем добра, если решила взять меня лишь на время. «Да, — согласилась дама, — вы правы; возьму ее к себе на неделю посмотреть, сойдутся ли с ней мои дочери и понравится ли мне ее характер, и потом с вами поговорю, а если тем временем кто-нибудь придет навестить ее, как обыкновенно, скажите, что вы послали ее ко мне».